

АНДРЕ ВАНДЕНБРЁК

ПРОРЫВ

Рассказ о Великом Делании

Том II



ТОТЕНБУРГ

МОСКВА 2026

УДК 130.2
ББК 87.21
В17

***Все права на книгу находятся под охраной издателей.
Ни одна часть данного издания не может быть воспроизведена
каким-либо способом без согласования с издателями.***

Перевод с английского — Евгения Истомина

Редакция перевода и примечания — Олег Молотов

Ванденбрёк, А.

В17 Прорыв: Рассказ о Великом Делании. Т. II / Пер. с англ. — М.: Тотенбург, 2026. — 236 с.

Этот необычный философский роман — серьезное интеллектуальное исследование природы сознания. В нем рассказывается о глубокой трансформации, о сложнейшем опыте фундаментального внутреннего перерождения, который переживает главный герой, вступая в таинственную связь с первыми людьми, познающими мир. Это повествование одновременно и о становлении человечества, и о тернистом пути познания. В силу сложности поднимаемых вопросов и замысловатой манеры письма книга эта не для рядового читателя. Тот же, кто подготовлен, обнаружит в ней многочисленные переклички с другим сочинением автора — автобиографическим романом «Аль-Кеми», посвященным личности знаменитого французского герметического философа Р. А. Шваллера де Любича. Не предназначенная для беглого чтения, книга поражает широтой затронутых интеллектуальных тем и дает обильную пищу уму — и этим с лихвой искупает все трудности, связанные с постижением ее сложного содержания.

**УДК 130.2
ББК 87.21**

© Евгения Истомина,
перевод с английского, 2026

© Олег Молотов,
редакция перевода, примечания, 2026

© Издательство «Тотенбург», 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Глава десятая. ПОДВЕШЕННОЕ СОСТОЯНИЕ	4
Глава одиннадцатая. ИСТОЧНИК	28
Глава двенадцатая. АССОЦИИ	51
Глава тринадцатая. ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ	79
Глава четырнадцатая. ЗНАКОМЫЕ	111
Глава пятнадцатая. ПАТИО.....	147
Глава шестнадцатая. ПРЕБЫВАНИЕ В ПЕЩЕРЕ.....	173
Глава семнадцатая. ПЬЕСА ЗЕМЛИ	202
Глава восемнадцатая. ОСВОБОЖДЕНИЕ	229
БЛАГОДАРНОСТИ	232

ПОДВЕШЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

Таллини шел по уже знакомой тропе, но это была не обычная прогулка — он не имел ни малейшего понятия, что находится вокруг него. Сама его походка — нерешительная, автоматическая — выдавала отсутствие цели. Накануне он бесплодно бродил по холмам, что привело только к здоровой мышечной усталости, позволившей ему наконец крепко поспать. Но этим утром за ранним кофе Джорджо напомнил ему, что, возможно, сегодня вернется Сидони, и он ждет ее звонка с подтверждением. Его шаг отражал мрачное состояние ума, в которое, по неясным ему причинам, его повергла эта информация. Хотя дни, прошедшие со встречи с валуном и пропущенной встречи с Хефистой были наполнены чувством потери, здесь она была ни при чем. Ощущение отсутствия не проходило — отсутствия не чего-то или кого-то, не чего-то отдельного от него, чего-то, что не было им самим. Эта потеря что-то отражала, но что именно — он не знал.

В утренней тиши иссушенной сельской местности единственными звуками, которые он слышал, были движения его тела, его шаги, его учатившийся пульс. На пыльной тропе, ведущей в холмы, его приглушенный шаг подражал мягким молоточкам, бьющим по низко настроенным литаврам; его глубокие вдохи, расширенные подъемом, играли контрапункт. Под всеми ритмическими переживаниями пульсирует сущностный ритм, самый личный такт, сердце, которое всегда сохраняется. Переход от этого вездесущего — следовательно, старого — ритма к пульсу входящего отвлеченного прикосновения, схватыванию нового, внезапен в своей прерывности, — но он же

и успокаивает, потому что старое, ритм сердца, которое «всегда присутствует», продолжается. Старое внутри нового — Таллини скоро снова примет это как должное, как он должен был сделать в тот день, в тот момент.

Размышляя об этом, он держал глаза опущенными — его взгляд следовал за тропой, уходящей прямо. Эта тропа была проложена и поддерживалась не по милости гражданского строительства, а из-за использования людьми, достаточно интенсивного, чтобы держать в стороне скудную растительность. Он никогда не встречал никого на ней, и все же пыльная тропа оставалась живой — возможно, слишком глубоко врезанной в ландшафт, чтобы исчезнуть. Почти невидимая в каменистых проходах, она вновь появлялась там, где почва была предоставлена ее пыльным извивам. Эта почва, истоптанная в песок и взбиваемая в пыль, была непригодна для укоренения. Общий ум и воля проложили ее, чтобы попасть из одного места в другое. С какой целью, подумал он. Ради человеческого общения с семьей или друзьями? Или это было сделано для торговли, однополосного движения товаров? Он слышал о контрабандистах в регионе, у которых были точки встреч по всему побережью. Была ли эта тропа маршрутом для незаконных сделок? Контрабанда наркотиков объяснила бы отсутствие выючных животных на пути быстрых курьеров. Или, возможно, это был лишь безобидный след от шагов пастуха туда и обратно из его дома в деревне к стаду в холмах. Повторение, туда и обратно каждый день, утром и вечером.

Тогда ему пришло в голову, что эта тропа была создана путем повторения, имела точную цель, определенный конец определенного начала: классический случай причины и следствия. Какой бы ни была цель, вдохновившая эту тропу, он внезапно осознал, что к нему она не относится. Большую часть своей жизни он испытывал трудности с чужими тропами, но теперь это закончилось.

Он объявил, что это закончилось, в тот же самый момент, и чтобы доказать свою точку зрения, он тут же свернул в сторону, чтобы проложить собственную тропу через жгучие кактусы и траву эспарто этого дикого ландшафта. Таким образом, в подобный миг он мог изменить все, проложив свою собственную дорогу, перестав слепо следовать протоптанному пути. Чтобы обеспечить как можно более радикальный разрыв, он изменил направление, сделав поворот на 90 градусов и направившись прямо в холмы.

То, что произошло потом, было ожидаемо. Холм, за чьим легким контуром он следовал, теперь стал круче. Хуже того, он менялся по мере продвижения, становился гористым. Скоро он стал опасаться идти прямо в гору и был вынужден передвигаться зигзагами, что ограничивало свободный выбор, и поэтому упрямо направился к самому вертикальному участку. Его задумчивое настроение испарилось, поскольку вызов требовал полного внимания и энергии. Он начал карабкаться по все более крутому склону из разбросанного каменного щебня, подворачивая ноги; камни врезались в подошву, которая оказалась слишком тонкой для подобных занятий. Вскоре он обнаружил, что особенно сложные участки преодолевает почти на четвереньках.

Время от времени он думал, что замечает выступы, способные послужить стабильной опорой и временным пунктом отдыха. Однако при приближении они оказывались отдельно стоящими валунами значительной массы, чье равновесие было настолько шатким, что казалось, что малейшее прикосновение заставит их покатиться, и все закончится камнепадом. Нахождение опоры стало чисто интуитивным усилием. Не было расчета, какой камень удержится, а какой покатится вниз по склону, унося с собой прочий мусор. Он не смотрел ни налево, ни направо, но когда мимо него с шумом пронесся приличный камень, он следил за ним, пока тот не исчез внизу. Гораздо дальше,

в совсем иной глубине, он видел миндальные рощи в ослепительном солнечном свете, крохотные из-за расстояния, окружающие мирную побелевшую деревушку с красными крышами, ленивый андалузский микрокосм.

Ощущение, что он уже давно пережил этот момент, внезапно овладело им. Он сжался от страха, который поднимался от солнечного сплетения и давил на легкие. Паралич остановил его движение и заблокировал отступление. В своей великой опасности в этой недостижимой изоляции он поддался отчаянию. Внутренняя паника ускорила бег его крови и обездвижила мышцы, вызвав воспоминание из детства.

Ему было семь или восемь лет, и он гостил у родственников. Он играл с двоюродной сестрой и ее друзьями в большом заброшенном каменном карьере. После экскаваторов остались террасы, на которые было интересно залезать. Он был так поглощен своим развлечением, что не заметил, как другие ушли. Неопытный и беспомощный, альпинист-новичок вдруг оказался на узком выступе, потому что не мог идти дальше, а чтобы развернуться, ему не хватало опоры. Когда он посмотрел вниз, он понял, что находится на большой высоте. Он застыл в ужасе. Тело прижалось к каменной стене, но казалось, будто скала отталкивает его, пытается сбросить в пропасть. Впервые в жизни он почувствовал страх смертельной опасности.

Таллини быстро понял, что тот случай перекликается с его затруднениями на этом испанском склоне. Как будто некая его часть не изменилась с тех пор. В том карьере в момент паники, когда он оказался в шаге от движения, способного вывести из равновесия, пришло то, что взрослый в ретроспективе охарактеризовал как чувство избавления, втолкнувшее в неожиданный мир — мир, состоящий из звука. Как будто эфирные струны поддерживали дрожащие ноты за детским хором, восходя-

щим в бесформенной гармонии. Звук был прекрасно модулирован, но не демонстрировал ни унисона, ни какого-либо аккорда или кластера тонов. Это звук, который не был слышен, осознал он, переживая его снова, ибо звук вновь окружал его — органический звук, звук всего его собственного организма. Этот звук уничтожил время. Это был, как он теперь понял, просто звук жизни внутри него, побеждающий время не посредством момента, а посредством вечности: поистине трансцендентный опыт. Тогда как момент, по крайней мере теоретически, парит в пределах досягаемости человеческой сенсорики, вечность по самой своей неопределенности остается за границами для всего чувствующего. Только жизнь не подчиняется этому запрету. Жизнь, выступающая посредником между бытием и вечностью. Такова была интерпретация Таллини.

Такие прозрения не принадлежали бездумному мгновению звука. Осознания приходили потом, когда он размышлял о том, что случилось, и, в частности, о его связи с таинственным прохождением через валун. Но внутри звука нынешний инцидент был связан непосредственно с карьерой его детства, не вызывая размышления или обдумывания. Тогда звук заставил его замереть, обездвижил на шаткой опоре, спасая от паники. Там он и оставался, как бы отсутствуя в себе, заливаясь слезами, но без слышимого крика или рыдания, или любой телесной реакции, которая могла бы поставить под угрозу его равновесие, пока его товарищи наконец не заметили его и не вызвали пожарных. Как рассказывали спасатели, ребенок сиял, когда они помогали ему спуститься по лестнице, хотя по его щекам текли слезы.

Текущее положение Таллини на склоне горы явно требовало совершенно иного поведения. Оно требовало прямо противоположного: чтобы спастись, он должен был двигаться. Правильный жест теперь состоял не в том, чтобы оставаться на месте, а в том, чтобы разорвать тиски

паралича, охватившего его, когда колено соскользнуло с неустойчивого камня, вызвав небольшую лавину прямо под ним. Лежа плашмя на животе, лицом вниз, он инстинктивно хватался за все, что мог ухватить, когда услышал скольжение породы под собой. Так он и лежал, с камнем в одной руке, гравием в другой, прижавшись к земле и будучи убежденным, что любое дальнейшее движение увлечет его вниз. Казалось, будто один из более стабильных элементов земли взбунтовался на этой стадии становления камня, в этом стремлении от единой массы к пыли, ко все более мелким и летучим элементам. Ничто не могло остановить эту непрерывную и тотальную активность, и все же он цеплялся за нее ради безопасности. Земля, от которой он зависел, была самым движением. Это была леденящая мысль: чем дольше он оставался неподвижным, тем труднее и опаснее казалось любое дальнейшее движение. В этот напряженный момент его одолел звук его, и зачаточное узнавание стало отождествлением.

Ребенку на уступе нужна была чужая помощь, чтобы спастись, но одинокому мужчине на неустойчивом склоне пришлось самому противостоять опасности. В детстве «звук» — жизнь внутри него, все еще неуверенная и податливая, все еще в основном потенциал, — вызвал мир настолько иной, что известная его версия растворилась в этом различии. В тот момент это сделало его бессмертным. Для мальчика тот новый мир был шире, свободнее, он был вновь обретенным владением. Для мужчины это было отречение от старого. Шут как ребенок, мужчина как шут. Таллини видел себя дважды обездвиженным — сначала очарованием невинности, что открывает любую дверь, а затем страхом смерти. Оба были нужны, чтобы послужить нынешнему Таллини в его попытке пережить их обоих. Он не знал, увлажняют его тело пот или слезы, но он источал влагу и излучал тепло. Он знал, какие невероятные мышечные подвиги может

совершить эта энергия жизни, когда ей угрожают. В его уме пронесся случай, рассказанный ему Бенжи, — некая женщина подняла в несколько раз больше своего веса, в панике пытаясь спасти своего ребенка. Бенжи! Он пообещал себе, что если выберется отсюда живым, то возьмет следующий самолет в Париж, чтобы увидеть друга, рассказать ему все, что случилось, услышать его мысли об этом. Тем временем вопрос был не в нехватке развитой мускулатуры; нужен был двигатель, который отказал во время кризиса и теперь не заводился по приказу.

Внезапно суд, судьи, адвокаты, обвинители, защитники, зрители — все они собрались в безмолвных голосах людей пещер; их прикосновение ощущалось во внутреннем ухе. Всегда случайный и бесстрастный, на этот раз их контакт дополнился более устойчивым элементом, разделявшим жизненный поток, текущий через него. Не могло быть сомнений, что люди пещер находятся в недрах звука, который брал верх, нового двигателя. Вопрос прозвучал в нижнем диапазоне взрослых голосов: «Кто-о-о?» Затем из амфитеатра послышался ответ — непрерывное сопрано детского хора: «О-о-он!» Кто он — тот, кто может исчезнуть над обрывом, и кто он — тот, кто слышит звук, первый звук, когда-либо услышанный, звук жизни? Звук поднимался снизу, из пустоты, и хотя это был звук жизни, что всегда означало для него полноту, это был также звук пустоты. И как эта пустота жизни в звуке была бесконечно утешительной — можно сказать, надежной, — полнота жизни всегда требовала осторожного подхода к ее соблазнам, ее ловушкам, — да, ее предательствам. В тот раз, когда он был ребенком, внутри звука не было ничего, и вспоминать оказалось нечего. Но на этот раз он удерживал пустоту, ничто, как пространство внутри себя, отдаваясь звуку, который был почвой этого ничто. Он не только поддерживал его, но и поднял на ноги, когда звук поднялся внутри него, звук

жизни из открытой пустоты. Легкий, как перышко, он оказался на ногах, и ни один камешек не покатился. Легко и уверенно он ставил одну ногу перед другой, и вскоре достиг твердой скалы, осколка земной коры, поставленного на ребро. Когда Таллини обогнул ее, ему открылся вид на долину, ее теплые склоны, усеянные виноградниками, которые комично подавали ему знаки жестами, словно дружелюбные гномы, оставленные после того, как их взрастили ради благодатных плодов. Но они были живы и будут таковыми долго.



«Гул жизни, — объявил Бенжи, явно пораженный рассказом Таллини о звуке и его опыте на горе, но также пытаясь держаться в рамках рационального. — Гул энергии замечен, когда деградирует до любой степени, например, в электричество».

Таллини прилетел в Париж и теперь сидел с Бенжи в уютном баре на Рю Дагер. Он только что в нескольких словах изложил свое вчерашнее приключение. Бенжи сразу поразился авторитетному тону и вскоре заметил новообретенную речевую беглость своего друга. Таллини объяснял, что в звуке содержалось ощущение тождественности; оно отмечалось посредством слухового чувства, которое в этом случае оказалось очень точным, безошибочным и узко выборочным.

Бенжи предположил, что существует некое сходство в обонянии: «Ты знаешь, как определенные запахи могут через десятилетия передавать воспоминание в совершенной точности. В этом случае точность не формальна, как в случае с глазом, который специализируется на цвете и форме; она атмосферна, и в своей чистейшей и точней-

шей форме недоступна образу или слову». Почувствовав вкус к этой теме, он расписал абстрактные фантазии обоняния, строящего воздушные замки. Он вспомнил всепроникающий запах конкретного супа из лука-порей и кервеля, томящегося на деревенской плите, ароматного пара, который заставляет задумываться скорее о национальном, чем о кулинарном. Он продолжил пересказывать легенды о том чудесном душистом запахе, что веет во дворце, как благовоние, сигнализируя об успешном *conjunctio*. Таллини был в тупике. Как описать звук словами, когда звук слышен, потому что *нет слов*? Как можно описать жизнь без языка? В таком случае он изложит факты и оставит прочее в стороне.

Бенжи заметил, что его друг, кажется, не спешит доводить повествование до заключительного события, сколь бы счастливым оно ни было. Это выжидание может обмануть их обоих в любом рассказе: во-первых, потому что поиск слов по своей сути умалывает, он не способен передать истину опыта; во-вторых, потому что вечер становился все более поздним, и скоро — если он сочтет поиск слишком трудным — Таллини может внезапно посмотреть на часы, сказать «чао» и уйти. Бенжи заказал еще по кальвадосу для обоих, предлагая некоторые приятные замечания о *Feuerwasser*¹ и о том, как она растворяет язык. Затем он ободрил своего друга, чтобы тот продолжал говорить непосредственно и прямо, близко к опыту. Он хотел близости к чувству, к звуку.

Мог бы он сам признать невозможность такой задачи? Он этого не сделал, но так или иначе, по его мнению, все их разговоры проходили на фоне того или иного аспекта языковой невозможности. Бенжи был постоянно этим озабочен, и он намеревался использовать *синтактику* в качестве растворителя этой невозможности. «Где

¹ Огненная вода (нем.).

трансцендентность, там и невозможность... Если бы не было этой невозможности, не могло бы быть трансцендентности... Трансцендентность — это невозможное; вот почему невозможность — это сущность трансцендентности...» Он вертел это туда-сюда, делая большие паузы для размышления между фразами, уставившись на кальвадос, который вращал в бокале. Он думал, что возможно, Таллини еще не полностью понимает свободу, которую эта невозможность способна дать, тот простор (*looseness*), который она позволяет, — все то, что было важным для осуществления этого опасного трансцендирующего действия. Опыт и язык, два мира, два закона. Невозможность была частью сделки, и ее надлежало пережить, чтобы познать. На это нельзя было указать, и поэтому вместо этого он сказал, что хочет услышать все, что ему скажут.

Рассказать о спасении нетрудно, подумал Таллини. Он мог бы опустить звук — центр опыта — и сосредоточиться только на энергии, которая, в конце концов, и совершила свое физическое дело. Он назвал бы это своей *собственной* энергией, чтобы выразаться просто и понятно, но в душе он знал, что Бенжи не получил бы тогда *ближайшего* к реальности повествования — отнюдь. Происшествие из детства, связанное с карьерой, пришлось бы опустить. Оно было чересчур спекулятивным и лежало совершенно за пределами царства слов; это было полностью дело звука, который просто не состыковывался со словами. И все же оба раза, в карьере и на склоне, он испытал то же возвышение — нет, это не тот термин — то же *подвешенное состояние*. То, что он испытал, будучи ребенком, и прожил вновь в тех холмах, своей основой имело минеральное царство, литосферу — на скале, а также на валуне до этого, когда минерал перестал быть просто почвой и растворился в среде, его объем стал пространством. Какое громадное значение это имеет для него! Но какими словами он может сделать это зна-

чимым для другого? Опять же, как можно описать то, что наставляло его, когда он оставил проторенную тропу, в смысле бытия, делания, риска? Как он мог передать свое состояние особого осознания, где прогресс каждого шага порождает точную корреляцию с его средствами?

«Тропа, проложенная при ходьбе» — пришло ему на ум, фраза, которую он слышал или читал, хотя она оставалась относительно бессмысленной до тех минут на склоне, на развилке выбора между движением и падением, когда им овладело парализующее убеждение, что двигаться означало бы упасть. Он покинул проторенную тропу, чтобы проложить свою собственную, и это привело к невозможному выбору между «да» и «нет». Таким образом, он расскажет о вызове, связанном с тем, чтобы проложить тропу, на которой следующий шаг был невозможен.

Но когда пришло время рассказать свою историю, все запреты отпали. Его рассказ был драматически детализирован, хотя определенно неточен. Бенжи подгонял его вопросами. Он хотел услышать больше об этом подвешенном состоянии. Таллини объяснил его как «вверх, возвышение, стремление, которое держит тебя сверху». В карьере оно позволяло ему держаться прямо гораздо надежнее, чем смогли бы его дрожащие ноги. И хотя звук исходил как будто снизу, это подвешенное состояние было связано с ним, как положительное с отрицательным. Так он помнил это теперь; и это было именно то, что он чувствовал на вертикальной скале.

И было еще кое-что. После того как он спасся с крутого склона и обогнул склон над долиной, он стоял, созерцая всю панораму, отмечая особенности местности, как это сделал бы топограф — чередования невозделанной, дикой природы, и культивированной, раскрашенной цветом, силуэты побеленных фермерских домов, уютившихся группками на родной почве, тонко изогнутая полоска моря далеко впереди, как буфер между землей и

горизонтом, посредник между сушей и воздухом. «Воспринимать все это было легко, но я также обнаружил следы менее видимого присутствия. Не то чтобы я их видел, но они там были. И пока я смотрел, я поглощал все больше и больше. Через ущелье показались иберийские остаточные образы из древнего палимпсеста этой долины. Это была не просто игра света на контурах скал, а живые скульптурные формы, и формы за этими формами, все — приведенные в движение, как кадры из фильма. Я видел их позы, их жесты и маски, даже стремительный натиск мавританских войск, ослепительно ярких, налетчиков с противоположной стороны Средиземноморья. И все, что я видел, я мог идентифицировать в его конкретной фазе становления тем, чем оно стало, и чем дольше я это делал, тем проще мне это давалось. Вуали, одежды и знамена, развевающиеся в сильном минеральном свете, являлись из выступов породы и словно позировали кучками, общаясь друг с другом. Другие, возможно другого вида, отличались от того же фона и просто стояли лицом ко мне. Своего рода палеолитическая живая картина. Я мог различить мельчайшие детали — их кожу, меха и украшения, — и они словно жили прямо там, где были, просто стояли там, но явно подзывая к себе. И сколько бы я ни смотрел на все то, что было в поле моего зрения, я замечал признаки жизни, которые стремились обратить на себя мое внимание».

Покончив с рассказом, Таллини полагал, что дал голые факты, хотя осознавал, что в своем повествовании так и не приблизился к сути своего опыта. Однако Бенжи понял, что этим все не ограничилось, и прямо об этом сказал. «Существует столько заблуждений о вербальном общении, — сказал он. — Как ты знаешь, я считаю, что язык составляют две вещи: термины и слова. Эта структура, конечно, не уникальна для языка. Большинство фундаментальных понятий нужно рассматривать как

двойственности внутри единства. Время от времени мы это уже обсуждали, но, возможно, тебе пора проверить эту идею. Не сомневаюсь, что это будет неопенимо на территории, на которой ты маневрируешь. Ты ищешь свои ориентиры, и это придет к тебе на языке — но языке на пике его возможностей, языке как таковом. Я бы сказал, ты был бы очень разочарован, не имея его. Проблема со словами не в том, что они бессильны передать суть или заезжены. Разве они могут быть такими, когда в любой момент существует множество чувствующих душ, которые слышат их впервые? Нет, слова так же наполнены жизнью сегодня, как и всегда, если мы обращаемся с ними подобающим образом, предполагающим их функцию, и это означает, что они всегда находятся в компании соответствующих им терминов — по крайней мере, поначалу, пока у нас нет твердого понимания смысла языка, языка самого начала, языка истока».

«Да, это то, что я пытаюсь найти, именно то, что я ищу», — вставил Таллини.

«А, но это не придет посредством поиска и усилий, поверь мне, — только через опыт. Опыт, который доходит до самой сути дела, — конечно, к костям, куда он может вписать свою суть. В этом отношении свой опыт в холмах ты прошел с отличием, я уверен. Остаются проблемы в языковом изложении. Конечно, такой опыт может существовать и вне языка — в животном, в листе, даже в ядре минерала. Как, спрашиваешь ты? Животному присущ эмоциональный контакт, чистый и простой, без слов или смысла, который проявляется в его криках, его речи. У растения, которое проживает ошеломляющее хлорофилловое приключение, есть сокровенное знание солнечного света. Что касается минерала... Что ж, после того, что ты рассказал мне и написал о своем знакомстве с тем миром в холмах, нам не нужно останавливаться на минерале.

Но эти опыты вне языка разворачиваются очень медленно — крайне медленно в более простых организациях, — по сравнению с практикой слов посредством использования терминологии. Мы говорим о миллионах лет, которые потребовались, чтобы вписать их в более инертные слои. Важно осознать, что вписывание осуществляется, хотя и медленнее, даже просто переживанием существования, без привлечения терминологии. До языка это происходило без участия мышления. Но существует и "мышление" без терминов *после* языка, своего рода преодоление терминологии. Это может прийти только позже, конечно, после того как произойдет исцеление и правильное позиционирование языка. Чем рука была для твоих людей пещер, тем же язык является для современного человека. И он предоставит возможность трансцендентности».

«Самое важное для меня, — указал Таллини, — и иногда я даже думал об этом как о миссии, — это выражаться понятно для других».

«Нет, — сказал Бенжи, — это основное заблуждение, которое обременяет почти всех. На самом деле лучшее для тебя скрыто в самом вербальном выражении, выражении, так сказать, без тайных мотивов. Вот где лежит твоя истинная ответственность. Слово приходит к тебе в акте опыта, который требует языка. Говорящий сопряжен с опытом — вот в чем состоит вызов. И слова — это опыт в выражении, или, по крайней мере, они должны быть таковым, но сегодня это редкость. Заметь, что словесное внимание полностью принадлежит языку, который тем самым и создается, а вовсе не в передаче чего-то третьей стороне. Здесь выразительный языковой материал не может быть обнаружен ни поиском, ни извлечением из какого-то рода резерва, мешка терминов, языкового фонда. Ты должен позволить слову прийти к тебе таким, какое оно есть, а не из готового лексикона. Чтобы дос-

тичь такого чистого восприятия, что является твоей задачей в любом выражении, ты только регистрируешь термин, несмотря на тот факт, что ты выражаешь себя в слове, которое приходит к тебе. И выражать себя в словах — это все, за что ты отвечаешь. Остаток багажа — правописание, грамматика, синтаксис — все это несет термин.

Но термин и слово всегда находятся в контакте: невозможно отказаться от одного, пренебрегая другим. Так что все — или ничего — происходит именно в *восприятии*, и первый шаг в выражении — это правильное восприятие слова, осуществляемое посредством термина. Термины сами по себе пусты, это простые оболочки или формы. Слова же всегда полны смысла, заряжены смыслом, но бесформенны и открыты нараспашку. Но слово, полученное для выражения, должно быть избавлено от содержания, которым уже обладает получатель, которое он может попытаться в него втиснуть.

Стоит, насколько это возможно, сохранять очертания (*configuration*), пусть и зачастую туманные, в которых оно приходит к тебе, и нужно, чтобы оно сохранило контекст, ситуацию, в которой оно находится. Чтобы сохранить слово, так сказать, незапятнанным, ты должен получить только его термин, а термин — это только форма и никакого содержания. Он совершенно лишен смысла, а у слова есть только смысл. Помни, ты первый его получишь, прежде чем передашь дальше. После всех наших разговоров ты должен понимать, почему важно не наделять смыслом то, что приходит спонтанно, так как подобное наделение может быть только твоим личным смыслом. Это все, что есть в тот момент. После восприятия слова этот смысл изменится, потому что слово появится — я чуть не сказал «пострадает» — в новом контексте. Каждый раз, когда слово приходит к нам, его контекст иной, — следовательно, изменяется и смысл, пусть и слабо. Этой дифференциации еще не происходит в акте вос-

приятия, и поэтому ты не можешь принять слово как оно есть, не низведя его до своего уровня понимания. Ты также не можешь пренебречь смыслом слова — смысл есть все, что оно несет, словесный (*wordly*) смысл. Такое пустое восприятие можно осуществить только при помощи термина, который живет собственной жизнью и не нуждается в смысле. Воспринимая таким образом термин, ты не сведешь смысл слова к своему собственному, хотя это все, что у тебя есть в данный момент».

«Ты, кажется, подразумеваешь, что термин — это форма, а не содержание, — рискнул вставить Таллини. — Не мог ли он тогда появиться как визуальный объект?»

«Да, — ответил Бенжи, — ты можешь видеть термины на бумаге, ты можешь работать с ними на странице, можешь их записывать, можешь вписывать их в материю. Но со словами дела обстоят иначе: у них есть только одно — смысл, и ничего больше. Все остальное принадлежит терминологии. Я настаиваю на главном: когда к тебе приходит язык, как к первому получателю, он приходит в виде терминов. Есть достаточно правил для составления и использования терминов: словари, законы грамматики и синтаксиса, которые делают возможными *синтактику*, расположение, образец — изначально букв, но, в конечном счете, и образец мышления. Все это должно осуществляться при помощи терминологии и в отсутствие слов. Только после того, как разобрались с техническими деталями терминологии, мы приглашаем слово присоединиться к термину в воспевании языка. Теперь, укоренившись в термине, оно может выражать себя плодотворно, созревая в процессе. Термин — это явное (*apparent*), и слово не созревает до явления (*appearance*) языка. У тебя двухуровневый язык, и термин — это его явный уровень, он видим или может быть легко сделан таковым. Слово как таковое не бывает видимым, но оно воспринимается слухом, хотя и здесь его легко спутать с его термином.

Имей в виду, термин всегда совершенно известен, относительно терминов не может быть разногласий. Это означает, что тебе не нужно вносить ничего от себя в их восприятие. В нем нет ничего твоего, но это уже другой урок».

Какое-то время они сидели в тишине. Затем Бенжи заговорил на тему опыта с валуном, которую он стремился продолжить. «Да, ты дал мне некоторые подсказки в своем письме, но понять было трудно...»

«Об этом говорить очень трудно, — согласился Таллини. — Как будто тебя втянули в центр минеральной массы. Не сразу, заметь, а поэтапно. Я много думал об этом с тех пор, и это действительно было как бы потерей своих измерений. Сначала я потерял объем, а в итоге оказаться плоским на поверхности камня. Звучит смешно, правда?»

«Не особенно. В конце концов, человеческое сознание не начиналось в трех измерениях. На самом деле, прошло не так уж много времени с тех пор, как мы освоили третье. Просто посмотри на живопись, на сиенский золотой фон. Совершенно естественное отсутствие трехмерности. Конечно, не потому, что у них не было возможности, приемов для такого представления. Это наивный довод. Не существует творческой концепции, неспособной найти свою технику для воплощения, как вскоре станет очевидным с Джотто и флорентийцами. Но тем временем сиенцы — которые просто отражают дух своего времени, — совершенно удовлетворены двумя измерениями, потому что они еще неспособны жить, чувствовать и, следовательно, выражать пространство в третьем измерении. Им все еще не хватает чувства существования в объеме. Твой опыт мог бы быть гораздо более понятным для них, чем в сегодняшнем климате множества измерений. Их психика все еще оставалась двумерной, и у них на самом деле не было сознания своего собственного "я", которое могло бы установить их связь с миром.

Некоторые авторы проследили современную идею пространства до первого осознания ландшафта и даже конкретно до опыта Петрарки на горной вершине на юге Франции, который он описал в письме. Его стоит прочесть хотя бы ради того эмоционального возбуждения, которое он испытал при этом открытии. Нам трудно даже представить, что он открыл, это настолько очевидно для нас, как будто врожденное. Но средневековый человек еще не был готов оторвать качество измерения от своего количественного восприятия. Это качество могло бы сделать его открытым для пространства, для земли и ландшафта и дать ему самосознание, возможность локализовать себя. Для него небо и земля встречались в самой его душе, а не на горизонте. И это пространство, которое было завоевано менее семисот лет назад, но так хорошо служило нам со времен Возрождения, теперь само подвергается нападкам со всех сторон — со стороны искусства, науки, космологии. Это часть общего смятения, присущего нашему времени, — найти способность, искусство жить и выражать новую пространственность за пределами третьего измерения».

«Так если я правильно тебя понимаю, — ответил Таллини, — опыты, подобные моему с валуном, были бы довольно обычны в тринадцатом веке?»

«Не могу знать этого наверняка, конечно. Но готов поспорить, они были бы менее травматичны, чем для ума, полностью проникнутого объемом, как твой и мой. Но расскажи мне больше об этом опыте, как он разворачивался».

«Ну, можно сказать, в тот момент я ощущал, будто стою перпендикулярно земле, а затем внезапно сложился, как вертикальная грань прямого угла, на девяносто градусов. Казалось, будто гравитация, тянущая к центру земли, внезапно обрела горизонтальное направление, и весь на-

правленный вниз вес превратился в поверхностное натяжение. Что я могу сказать? Это нелегко объяснить».

«Но, конечно, существование на плоскости должно было оказаться в каком-то смысле довольно комфортным, гораздо менее сложным как эмоционально, так и в плане ощущений».

«Первым, что меня поразило, было ощущение контура. Так я называю то, что осталось от чувств. В трех измерениях, если подумать, нам не дано никакого принципа контакта между объектами или людьми. Большинство вещей не стыкуются между собой по-настоящему, и контакт должен в каждом случае развиваться при помощи действия, методом проб и ошибок, посредством языка или как-то иначе. Ты можешь оценить сложность этой ситуации, только испытав двухмерный контакт, чувство контура. Объем нельзя составить так, как плоскостный пазл: при соприкосновении в пространстве нельзя достичь совершенства. На поверхности все эти сложности исчезают. Остается только контур, и он существует в самом тесном контакте. Ничто не мешает краю, идущему по всему периметру, в который он идеально укладывается, полностью совпадать с однообразной средой. Да, это огромное упрощение, но здесь наиболее примечательна эта подгонка, то, как ты идеально приспособлен к своей среде».

«Ты определенно выигрываешь в идентичности то, что теряешь в возможностях, — добавил Бенжи. — Преимущество этой идеальной подгонки в том, что ты точно знаешь, кто ты такой; недостаток в том, что ты очень мал».

«Верно, и здесь также есть определенное сокращение самосознания, сопровождающее сокращение в пространстве. Если единственное качество — это плоскостность, то нет и состояния "лицом к лицу", есть только смежность. Без иного, другого на личной дистанции осознание себя также теряется. Нет и наблюдения в целом, только чувство соседства, одностороннее осознание. Но

о чем мы говорим? Это чисто гипотетическое состояние, если ты не испытал его. Почему оно так тебя интересует?»

Бенжи ответил не сразу. Он все еще восхищался той легкостью, с которой выражался Таллини, и его новообретенной уверенностью в себе. Затем, спустя некоторое время, он сказал: «Что ж, я скажу тебе. Во-первых, потому что это случилось с тобой, а мне на тебя не наплевать. Во-вторых, конечно, это связано с твоей буквальной передачей исторического способа мышления, одной из стадий человеческого сознания.

Это само по себе увлекательно, но, признаюсь, для меня первостепенный интерес представляет не такая вот археология, а прецедент для нашей собственной ситуации. Сегодня мы сами находимся в таком положении, что придется найти гору, чтобы подняться на нее, чтобы узреть новый вид с ее вершины. Все, что мы сможем узнать из этого прецедента, обязательно нам поможет.

«Проблема состоит в том, где найти это возвышение, с которого мы разглядим следующее измерение. Но, как и Петрарка, мы уже живем в нем, и просто потребуются адекватная точка обзора — назовем ее "подходящей горной вершиной", — чтобы открыть не только наши глаза, но и наши чувства, открыть их новому миру.

Заметь, как наш случай отличается от рубежа между Средневековьем и современностью: наше следующее измерение уже выражено в идеологиях математики, физики и космологии, и все же мы неспособны жить в новом мире. Формулы для материи и пространства-времени лежат перед нами, а эпистемология девятнадцатого века лежит в руинах, но мы живем и мыслим, как добрые буржуа столетие назад. Это как если бы во время восхождения Петрарки уже были бы разработаны законы перспективы и открыта Америка, и все же люди до сих пор жили бы в плоском мире. Конечно, многие из них жили так и веком позже, а некоторые, возможно, живут так и сей-

час. На самом деле эти более ранние состояния сознания продолжают существовать во всех нас — вот почему ты смог установить контакт с двумерным».

«Но не забудь, — вставил Таллини, — что это состояние оказалось промежуточным перед еще одной редукцией, на этот раз к точке в центре валуна — поистине одномерной, и все же это объем, отрицательный объем, если сравнивать с трехмерным, и...»

«Да, я понял нечто подобное из твоего письма, но прежде чем мы уйдем от поверхности, попробуй рассказать мне, что поразило тебя больше всего и неожиданнее всего в той странной среде, что сильнее всего отличалось от твоего прежнего состояния».

«О да, это я могу сказать тебе в точности. Это было упрощение жизни на всех уровнях, как ты уже догадался. Исчезают все эти различные подгонки, корректировки, регулировки, которые нужно делать в объемном состоянии, хотя с их помощью все равно невозможно достичь какой-либо степени совершенства, и эта иллюзия расстояния, созданная глубиной поля зрения, — все это исчезает вместе с искажениями перспективы. Еще есть оболочка отделения, которая окутывает и защищает каждый отдельный объем от вторжения или даже контакта — она также исчезает, оставляя плоскостное существо с простым и недвусмысленным принципом действия».

«И тем самым освобождает его от всех личных этических решений, — заключил Бенжи. — Можно понять, что без перспективы и без расстояния, без возможности встретить другого и постичь его как сущность, — только как общий предел, — единственная деятельность в этом клане двумерных существ заключалась бы в этом контурном контакте. Единственное возможное действие, единственное влияние на среду осуществляется в этом общем пределе, и результатом этого обмена всегда будет совершенное согласие, идеальная подгонка, о которой ты гово-

ришь. И отличить двумерное существо от среды нельзя никак. Но если бы нам пришлось определить плоскостность, мы могли бы сказать, что сущность плоского существа лежит в пределе его действия.

Если тебя удивляет, почему я так очарован всем этим, позволь сказать, что я работал над своим очерком о технологии, и, конечно, там у меня многое связано с действием согласно принципам, с моралью наших поступков — то есть с этикой. И здесь нужно вернуться назад и попытаться выяснить, как случилось так, что действия человека стали столь необузданными, что угрожают всему человечеству. И в самом деле кажется, что возвращение во времени — это также возвращение в пространстве, отслеживание расширения измерений. И это отслеживание может дать нам информацию о переходе из одного состояния в другое и, следовательно, может помочь нам с нашими собственными проблемами перехода от третьего к четвертому измерению».

В этот момент официант подошел поинтересоваться, будут ли они ужинать; если нет, он с радостью перенесет остатки их заказа на другой столик в задней части. Бенжи ответил, что они уже уходят, и Таллини оплатил счет. «Я забронировал столик в "Клозери де Лиля", — сказал Бенжи. — Надеюсь, у тебя нет других планов. Ты не поверишь, как хорош рубец по-кански. И бутылочка флери к нему. Ты за?»

Пока они прогуливались по оживленной улице, Таллини признал, что быть в Париже со своим другом и иметь возможность все обсудить — это замечательно. Но он также не скрывал, что рад тому, что оставил испанские холмы совсем ненадолго, поскольку намеревался вернуться тем же вечером. Он упомянул чувство безопасности, обретенное в тех холмах, и как во время полета в Париж его охватил страх, что он никогда не вернется обратно. Бенжи не перебивал. Он чувствовал, что с его

другом многое произошло уже после того инцидента с валуном, и пока Таллини был так восхитительно разговорчив, Бенжи сдерживался как мог. Как только они устроились в ресторане и выпили первый бокал флери за здоровье друг друга, Таллини начал рассказывать о финальном этапе опыта с валуном. Хотя он не упоминал голос минерала, который слышал, он как можно лучше описал сеть дихотомий, с которыми столкнулся, и конечный путь — который он не выбирал, но все же прошел. И он попросил Бенжи поделиться мыслями об этих образах, которые, как он чувствовал, он прожил.

«Давай посмотрим, правильно ли я тебя понимаю, — ответил Бенжи. — Ты, видимо, столкнулся с двумя наборами судеб, и это была, по сути, идентичная бинарная оппозиция. То есть альтернативы были совершенно эквивалентны, так как ты ничего не знал о них, кроме их полярности, которая каким-то образом делала их противоположностями друг другу. Если один был "да", другой был "нет", если один был справа, другой был слева, не считая того, что до любого твоего действия ни один не был левым или правым, "да" или "нет", или чем-либо еще. И все же тебе нужно было продолжать, и только с твоим проходом каждый узел получал свою характеристику, а именно, что один путь будет выбран, а другой нет. Вдоль этого процесса будет прослежена сеть действия, и отношения будут определены от одного узла к другому. Процесс обязательно оставляет часть себя на каждой развилке или/или — отпечаток, простой след, — однако неизгладимо окрашивает узел выбором. Потому что, хотим мы того или нет, действие всегда выбирает среди альтернатив. Процесс в конце концов исчерпывает все возможные или/или, применимые к его конкретному существованию, и, я полагаю, он угасает, вся его деятельность оказывается в сети отношений, установленных то-тальностью всех его дихотомий.

Но заметь, что необходимый отказ от одной из возможностей на каждом узле — это не просто отбрасывание какого-нибудь "может быть", чьи последствия могли бы быть увязаны с психопатологией сожалений насчет "могло бы быть". Само собой разумеется, ничего подобного не было актуально в той ситуации, которую ты описываешь. Нет, подобное исключение альтернатив имеет творческий характер: отказывая чему-либо в актуализации, отрицание само по себе намекает на богатство возможностей, скрытое в существовании. Существование свободно, не сковано предписанными или предсказуемыми структурами, формами и функциями и открыто для нелинейного импровизационного пространства, пространства творческого воображения. Но скажи мне, чем закончилось это приключение?»

Со стороны Таллини последовало долгое молчание. «Я не знаю, — наконец пробормотал он. — Я действительно не знаю. Я иногда думаю, что оно вовсе не закончилось и что я все еще путешествую по той сети». И про себя, шепотом: «Не выбирая».

Затем он встал. «Спасибо, — сказал он. — Мне есть над чем подумать. Мой самолет в полночь, пора идти. Но я буду на связи. Спасибо... и *чао*».